

*Посвящается Колину и Брендану*

## Глава I

### «БОСТОН-МЕРСИ»

В 1942 году в Бостоне мать Гарпа, Дженни Филдз, была арестована за нанесение в кинотеатре тяжких телесных повреждений незнакомому мужчине. Это случилось вскоре после того, как японцы напали на Пёрл-Харбор, и публика относилась к солдатам достаточно терпимо, поскольку внезапно солдатами стали практически все, однако Дженни Филдз твердо стояла на позиции абсолютно нетерпимого отношения к распущенности мужчин в целом и солдат в частности. Тогда, в кинотеатре, ей пришлось три раза пересаживаться, но этот солдат всякий раз вновь подсаживался к ней поближе, пока она не оказалась практически прижатой к заплесневелой стене, а экран, где шла сводка новостей, загораживала какая-то идиотская колоннада. Тем не менее Дженни решила больше с места не вставать. Солдат же пересел еще раз и теперь устроился с нею рядом.

Дженни было двадцать два года. Она бросила колледж, едва успев туда поступить, зато окончила курсы медсестер и была там лучшей ученицей; ей нравилась эта работа. Выглядела Дженни очень спортивно, на щеках у нее всегда играл румянец, что прекрасно сочеталось с ее темными блестящими волосами, однако ее походку мать презрительно называла «мужской» (Дженни шагала широко и при ходьбе размахивала руками); у нее была крепкая небольшая попка и стройные сильные ноги, так что сзади ее запросто можно было принять за мальчишку. Только вот, по мнению самой Дженни, грудь у нее была великовата; ей даже казалось, что при таком «представительном» бюсте она смахивает на «легкодоступную дешевку».

А она ею отнюдь не была. По правде сказать, она и колледж-то бросила, заподозрив, что родители послали ее учиться в Уэлсли в основном потому, что им хотелось заставить ее встречаться с парнями и в конечном счете выдать замуж за «молодого человека из хорошей семьи». Рекомендация насчет Уэлсли поступила от старших братьев Дженни, которые убедили родителей, что тамошние студентки особенно высоко котируются на брачном рынке, ибо считаются девушками серьезными и весьма строгих взглядов. Дженни сочла это оскорбительным: отдав дочь в колледж, родители, казалось, вежливо попросили ее немного подождать, пока она, словно телка, не будет готова к введению устройства для осеменения.

В колледже она выбрала основной дисциплиной английскую литературу, но, увидев, что однокурсницы озабочены главным образом накоплением сексуального опыта и умением привлекать к себе мужчин, Дженни без малейших затруднений или угрызений совести приняла решение поменять филологию на медицину и получила профессию медсестры. Эту профессию она, во-первых, могла немедленно применить на практике, а во-вторых, изучение медицины явно не таило в себе никаких скрытых мотивов (позднее, правда, она писала в своей знаменитой автобиографии, что слишком многие медсестры «вертят хвостом» перед врачами, но к тому времени и учеба, и работа медсестрой были уже позади).

Ей нравилась простая, без всяких изысков форма медсестры. Белый халат был достаточно просторным и скрадывал пышный бюст; туфли были удобные и как нельзя лучше подходили для ее быстрой, размашистой походки.

А во время ночных дежурств она по-прежнему могла довольно много читать. Она прекрасно обходилась без общества студентов мужского пола, которые, впрочем, сразу терялись и мрачнели, если девушка явно не желала себя компрометировать, но дай им только повод и взгляни поласковой, как они тут же задирали нос. Пациентами этой больницы были большей частью солдаты и рабочие, люди простые, откровенные и с куда меньшими претензиями; если девушка все же оказывала им внимание, рискуя быть скомпрометированной, то они, по

крайней мере, испытывали благодарность и старались поддерживать с ней добрые отношения. А потом вдруг буквально все вокруг стали солдатами — и сразу задрали нос от сознания собственной важности, прямо как студенты-молокососы; и тогда Дженни Филдз вообще прекратила какие бы то ни было попытки вступить с мужчинами в более близкие отношения.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — была волком-одиночкой (точнее, одинокой волчицей, конечно!)».

Благосостояние семейства Филдз было связано с производством обуви, хотя и мать Дженни (из богатых бостонских Уиксов) получила в качестве приданого также весьма значительную сумму. Отлично нажившись на обуви, родители Дженни Филдз вскоре переехали в собственный дом, расположенный вдали от обувной фабрики. Этот огромный дом с гонтовой крышей возвышался на побережье Нью-Гэмпшира, в бухте Догз-Хэд-Харбор. На выходные Дженни всегда приезжала домой — главным образом, чтобы угодить матери и убедить эту пожилую даму, что она, Дженни, хотя и «пустила свою жизнь козе под хвост, став медсестрой» (как выражалась ее мать), все же не приобрела еще ни плебейских замашек, ни дурного тона в речи или одежде.

Дженни часто встречалась с братьями на Северном железнодорожном вокзале, и они вместе ехали домой. По традиции, свято соблюдавшейся всеми членами семейства Филдз, они всегда садились в вагоне справа по ходу поезда, принадлежавшего компании «Бостон энд Мэн», когда ехали из Бостона, и слева — когда возвращались обратно. Таково было неуклонное требование старшего мистера Филдза, который был прекрасно осведомлен, что самый гнусный пейзаж расстилается именно по эту сторону дороги, однако полагал, что все его наследники просто обязаны лицемерить сей мрачный источник независимости и благополучия их семейства, ибо по правую сторону от железной дороги на пути из Бостона и по левую — на обратном тянулись бесконечные унылые здания самой большой обувной фабрики Филдзов, располагавшейся в городке Хаверхилл; там, над железнодорожной веткой, ведущей прямо к фабрике, вы-

сился огромный рекламный щит с изображением гигантского рабочего башмака, обладатель которого твердой поступью шагнул прямо на вас. Бесчисленные миниатюрные отражения этого башмака поблескивали в окнах фабричных зданий. А под самим башмаком красовалась надпись:

ФИЛДЗ

ОБУЕТ ВАС И В ПОЛЕ, И В ЦЕХУ!<sup>1</sup>

На фабрике выпускали также туфли для медсестер, и мистер Филдз непременно дарил дочери пару таких туфель всякий раз, когда она приезжала домой; у Дженни уже скопилось их не меньше дюжины. Что же до миссис Филдз, по-прежнему абсолютно уверенной, что ее дочь, покинув Уэлсли, сама обрекла себя на исключительно мрачное будущее, то и она всякий раз, когда Дженни приезжала домой, делала ей подарок. Практически всегда это была грелка, — по крайней мере, так утверждала миссис Филдз, ну а Дженни просто приняла это утверждение на веру: она так и не распаковала ни одного подарка матери, хотя та регулярно ее спрашивала: «Дорогая, ты еще пользуешься той грелкой, что я тебе подарила?» И Дженни, подумав с минуту (и не будучи уверена, что не оставила подарок в поезде или не выбросила случайно с мусором), отвечала: «По-моему, я куда-то ее задевала, мам; но я совершенно уверена, что еще одна грелка мне не нужна». Однако миссис Филдз все-таки доставала припрятанный заранее подарок, неизменно завернутый в аптечную упаковочную бумагу, и буквально силой заставляла дочь принять его. При этом миссис Филдз всегда повторяла: «Пожалуйста, Дженнифер, никуда ее не засовывай. И пожалуйста, *пользуйся* ею!»

Будучи медсестрой, Дженни прекрасно знала, сколь мало нужны подобные старомодные грелки, и считала сей предмет всего лишь трогательным древним символом чисто психологического комфорта. Но отдельным экземплярам все же удалось-таки добраться до ее маленькой комнатки неподалеку от боль-

---

<sup>1</sup> *Field* — поле (мн. ч. *fields* — филдз). (Здесь и далее примеч. перев.)

ницы «Бостон-Мерси». Впрочем, Дженни их так и не распаковала и держала в шкафу, почти до отказа набитом коробками с новехонькими туфлями для медсестер.

Она никогда не ощущала особых родственных связей с родителями и братьями, и в детстве ей казалось странным, что семья столь щедро уделяет ей свое внимание; а потом в определенный момент этот поток любви вдруг иссяк, превратившись в ожидание. Все словно ждали от нее, что она (причем достаточно быстро) сумеет воспользоваться той впитанной в себя любовью, которую дарила ей семья, а затем (может быть, в течение несколько более продолжительного периода) выполнит определенные обязательства, которые любящая семья на нее возложила. Когда Дженни разорвала эту цепь, поменяв престижный Уэлсли на самое заурядное учебное заведение и работу обычной медсестры, она сразу оказалась как бы вне семейного круга, а семья, словно ей не оставалось ничего другого, отнюдь не спешила ее в этот круг вернуть. Для семьи Филдз было бы куда лучше, если б Дженни, бросив Уэлсли, стала, например, врачом или еще студенткой вышла замуж за врача. Каждый раз, приезжая домой и встречаясь с родителями и братьями, она чувствовала, что всем им в обществе друг друга становится все более и более неудобно. Они словно проходили весьма странный и мучительно долгий процесс отчуждения.

Это, должно быть, характерно для всех семей на определенном этапе, думала Дженни. Сама она была уверена, что, если у нее когда-нибудь будут дети, она станет любить их и в двадцать лет ничуть не меньше, чем в два года; в двадцать они, пожалуй, еще больше нуждаются в материнской любви, думала она. Да и вообще, много ли нужно двухгодовалому ребенку? Для нее дети относились к числу самых легких пациентов. Чем старше становятся дети, тем больше им требуется, думала Дженни, и тем меньше их любят родители, и тем меньше они кому-то нужны...

Дженни чувствовала себя так, словно выросла на огромном корабле, ни разу не побывав в машинном отделении и совершенно не зная, что там происходит. Ей нравилось, что в больнице, по сути, все ограничено тем, что человек ест, если ему вообще

полезно и необходимо есть, и тем, куда потом деваются результаты того, что он ест. В детстве Дженни никогда не приходилось иметь дела даже с грязными тарелками; по правде сказать, она была уверена, что, когда прислуга убирает со стола, грязные тарелки просто выбрасывают (это было еще до того, как ей разрешили ходить на кухню). И когда по утрам разносчик ставил у их порога бутылки с молоком, Дженни считала (в течение некоторого времени, правда), что и новые тарелки тоже приносит он: звон стеклянных бутылок был очень похож на звон тарелок за закрытой дверью кухни, где что-то там делали слуги.

Дженни Филдз было пять лет, когда она впервые увидела ванную комнату отца. Она сама нашла ее по запаху отцовского одеколона. Там она обнаружила запотевшую душевую кабинку — новшество для 1925 года, — личный туалет и ряд флаконов, настолько отличавшихся от знакомых флаконов матери, что Дженни даже решила, что обнаружила логово какого-то таинственного незнакомца, годами тайно проживавшего у них в доме. По сути дела, так оно и было.

В больнице она быстро разобралась, куда что девается; кроме того, она все время открывала для себя простые человеческие истины, начисто лишённые какой бы то ни было магии, находя ответы на вопросы, откуда берется та или иная вещь. Дома, в Догз-Хэд-Харбор, даже когда Дженни была совсем еще маленькой, у нее, как и у каждого члена семьи, была своя ванная, своя спальня, свои зеркала на обратной стороне дверей. Там уважали уединение. В больнице же уединение отнюдь не считалось чем-то священным; здесь практически не существовало никаких секретов ни от кого, а если вам нужно было зеркало, следовало просто попросить его у сестры.

В детстве для Дженни самым таинственным помещением, которое ей разрешили самостоятельно исследовать, был подвал; а также огромный глиняный кувшин, который каждый понедельник наполняли всякими съедобными моллюсками — разиньками, венерками и т. п. Мать Дженни каждый вечер посыпала плененных моллюсков кукурузной мукой и каждое утро промывала их свежей морской водой из длинной трубы,

которая тянулась в подвал прямо из самого моря. К концу недели моллюски становились очень толстыми и уже не помещались в своих раковинах, где больше не оставалось песка; обычно они самым непристойным образом болтались на поверхности воды, и по пятницам Дженни помогала поварихе разбирать их; дохлые уже не втягивали шею, когда к ним прикоснешься.

Как-то раз Дженни попросила купить ей книжку про моллюсков. Она прочла о них все: чем они питаются, как размножаются, как растут. Это были первые живые существа, которых она полностью понимала: она многое узнала об их жизни, любви и смерти. Окружавшие ее в Догз-Хэд-Харбор люди не были столь доступны. И в больнице Дженни Филдз все время чувствовала, что наверстывает упущенное; она постоянно делала для себя небольшие открытия: например, выяснила, что люди вряд ли более таинственны или более привлекательны, чем моллюски.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — была не из тех, кто тонко чувствует различия между людьми».

Единственное существенное отличие моллюсков от людей, по мнению Дженни Филдз, заключалось в том, что большинство людей обладают хоть каким-то чувством юмора; впрочем, у самой Дженни склонности к юмору не было. Среди медсестер больницы ходил весьма популярный в ту пору анекдот, однако Дженни Филдз он вовсе не казался забавным. Анекдот был связан с названием одной из бостонских больниц. Та больница, где работала Дженни, называлась Бостонской больницей милосердия или «Бостон-Мерси»; кроме нее, в городе имелась еще Массачусетская клиническая больница, или «Масс-Клин». А третья больница носила имя Питера Бента Бригэма, или попростому «Питер Бент»<sup>1</sup>.

Суть шутки заключалась в том, что однажды бостонского таксиста остановил на улице мужчина, который лишь с огромным трудом, чуть не падая, сумел сойти с тротуара и добратся до машины. От боли лицо его совершенно побагровело, он

---

<sup>1</sup> *Питер Бент* — разговорное выражение, которое можно перевести как «свернутый набок член».



то ли задышался, то ли сдерживал дыхание, — видимо, ему было очень тяжело говорить. Таксист вылез, открыл дверцу и помог бедолаге забраться в машину; тот улегся прямо на пол параллельно заднему сиденью и поджал колени к груди.

— В больницу! В больницу! — со стонами молил он.

— В какую? «Питер Бент»? — спросил таксист. Это была ближайшая больница.

— Какой там Питер Бент! Гораздо хуже! — простонал несчастный. — Мне кажется, Молли его откусила!

Мы уже говорили, что Дженни Филдз находила мало забавного в анекдотах, а уж в этом и подавно. Анекдоты про мужской член, как его ни назови, она вообще не воспринимала и темы этой старательно избегала. Уж она-то навидалась в больнице самых различных неприятностей, случавшихся с этими штукаами! Кстати, совершенно непонятно, думала она, почему их называют «питерами». И рождение детей было еще далеко не самой худшей из связанных с этими «питерами» бед. Конечно же, ей попадались женщины, которые совсем не желали иметь детей и очень расстраивались, узнав, что беременны. Таким вовсе не следует иметь детей, думала Дженни. Но больше всего ей было жаль тех детей, которые все-таки у этих женщин рождались. Впрочем, встречались ей и другие женщины, которые, напротив, очень хотели иметь детей; из-за них-то и она сама захотела родить себе ребеночка. Когда-нибудь, думала Дженни Филдз, у меня тоже будет ребенок, но только один-единственный. Ибо Дженни по-прежнему старалась иметь как можно меньше общего с мужчинами и этими их «питерами», во всяком случае, насколько это было допустимо в больнице.

Процедуры, которым подвергались пресловутые «питеры», Дженни видела не раз. Чаще всего они выпадали на долю солдат. В армии США только с 1943 года появился благословенный пенициллин; а большая часть солдат пенициллина не видела вплоть до 1945 года. В «Бостон-Мерси» в начале 1942 года «питеры» лечили, как правило, сульфамидами и мышьяком. От тришпера давали сульфатиазол, рекомендуя побольше пить, а при сифилисе, пока не появился пенициллин, применяли нео-

арсфенамин. Дженни Филдз казалось, что это и есть тот самый кошмар, к которому способен привести секс. Подумать только, вводить человеку в организм яд, мышьяк, чтобы очистить его от заразы!

Существовал также наружный способ лечения «питеров», который требовал огромного количества воды. Дженни часто помогала врачу при проведении этой дезинфекционной процедуры, поскольку в такие минуты пациенту требовалось повышенное внимание; иногда, сказать по правде, его попросту нужно было крепко держать. Сама-то процедура сложностью не отличалась; нужно было всего лишь прогнать через пенис по мочеиспускательному каналу примерно сотню кубиков жидкости, не давая ей при этом выливаться обратно, но пациент после такого лечения чувствовал себя так, словно у него внутри не осталось живого места. Устройство для такого лечения изобрел врач по имени Валентайн, и называлось оно «ирригатор Валентайна». Впоследствии устройство доктора Валентайна было существенно усовершенствовано, а потом и заменено другим «ирригационным» устройством, но медсестры в «Бостон-Мерси» еще долго называли это лечение «процедурой Валентайна». Достойная кара для любовников, считала Дженни Филдз.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — была совершенно лишена романтических наклонностей».

Когда тот солдат в кино пересел вслед за нею в первый раз, то есть при первом же его поползновении «познакомиться», Дженни Филдз сердито подумала, что «процедура Валентайна» была бы для этого типа в самый раз. Но «ирригатора» она, разумеется, при себе не имела: аппарат был слишком громоздким, чтоб уместиться в сумочке. Вдобавок, чтобы его применить, потребовалось бы значительное содействие со стороны пациента. Но если и не «ирригатор», то уж скальпель-то Дженни носила с собой всегда. Она отнюдь не украла его в хирургическом отделении, нет, скальпель просто выбросили, поскольку на лезвии была довольно большая зазубрина (видимо, его нечаянно уронили на пол или в раковину) и для хирургиче-

ских операций он уже не годился. Но Дженни и не стремилась использовать его в профессиональных целях.

Сперва скальпель изрезал все кармашки на шелковой подкладке ее сумочки. Потом Дженни нашла половинку старого футляра от термометра, которая прекрасно закрывала острый кончик скальпеля, как колпачок авторучку. Вот этот-то «колпачок» она и сняла, как только солдат плюхнулся с нею рядом и положил свою лапищу на подлокотник, которым они (вот уж действительно абсурд!) предположительно должны были пользоваться сообща. Его огромная кисть свободно свисала с подлокотника, болтаясь и дергаясь, как хвост лошади, отгоняющей мух. Дженни держала одну руку в сумочке, крепко сжимая скальпель, а другой рукой прижимала сумочку к своим обтянутым белым халатом коленям. Она воображала, что ее белый халат сияет точно священный щит, а этот подонок, что сидит рядом, по какой-то противоестественной причине испытывает тягу именно к белому.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — всю жизнь остерегалась тех, кто на бегу вырывает у женщин сумочки, а также тех, кто любит женщин лапать».

Но тот солдат в кино охотился вовсе не за ее сумочкой. Когда он решительно положил руку Дженни на колено, она громко и отчетливо произнесла: «А ну убери свою вонючую лапу!» Зрители в зале стали на них оглядываться.

«Да ладно тебе», — нетерпеливо шепнул солдат, и его рука быстро скользнула Дженни под юбку. Он обнаружил, что бедра девушки плотно сжаты, и вдруг почувствовал, что с ним самим творится что-то неладное: вся его рука от плеча до запястья была аккуратно располосована до кости. Дженни вонзила скальпель прямо сквозь знаки различия на рукаве его рубашки и умело взрезала кожу и мышцы, обнажив локтевой сустав. («Если бы я хотела его убить, я бы вскрыла ему и вены на запястье, — объясняла она потом полицейским. — Я ведь медсестра, я знаю, как вызвать сильное кровотечение».)

Солдат заорал. Потом вскочил и, уже падая, успел здоровой рукой вмазать Дженни прямо в ухо, от этого удара в голове

у нее зазвенело, она чуть не оглохла, однако сумела ответить взмахом скальпеля, лишив парня довольно-таки заметной части верхней губы. («Я вовсе не пыталась перерезать ему горло, — заявила она в полиции. — Я просто хотела отрезать ему нос, но промахнулась».)

Стеная и плача, солдатик на четвереньках выполз в проход между креслами и потащился в сторону освещенного фойе, где надеялся обрести защиту. В зале кто-то тихо поскуливал от страха.

Дженни аккуратно вытерла скальпель о сиденье кресла, закрыла лезвие колпачком от термометра и спрятала в сумочку. А потом спокойно двинулась в фойе, где слышались жалобные стоны и перепуганный директор кинотеатра тщетно взывал, обращаясь к темному залу: «Есть здесь врач? Пожалуйста, откликнитесь! Есть здесь врач?..»

Врача не оказалось, зато была профессиональная медсестра, которая и поспешила на помощь пострадавшему. Но, увидев ее, солдат впал в беспамятство, и вовсе не от потери крови. Дженни отлично знала, как сильно кровоточат даже самые пустяковые раны на лице и как легко они вводят людей в заблуждение. А вот глубокая рана на руке солдата, конечно же, требовала немедленного вмешательства, но в целом раненый отнюдь не истекал кровью. Хотя никто, кроме Дженни, видимо, этого не понимал — вокруг было слишком много крови, и особенно ужасно выглядели огромные кровавые пятна на ее белом медицинском халате. Все быстро догадались, что раны солдату нанесла именно она. А потому служители кинотеатра не дали ей даже прикоснуться к потерявшему сознание парню, а еще кто-то из «добровольцев» отнял у нее сумочку. Ого! Да она сумасшедшая, эта медсестра! Смотрите, как она его порезала! Но Дженни хранила полное спокойствие. Она была уверена, что представители власти сумеют правильно оценить ситуацию. Однако прибывшие полицейские отнеслись к ней отнюдь не так благосклонно, как она ожидала.

— Вы давно с этим парнем встречаетесь? — спросил ее один полицейский по дороге в участок.

А другой, чуть позже, удивился:

— И с чего это вы решили, что он на вас напасть собирает-ся? Он, между прочим, утверждает, что всего лишь хотел с вами познакомиться.

— А ведь это на самом деле очень опасное оружие, милочка вы моя, — заметил третий. — Скальпель не стоит повсюду носить с собой. Так ведь и до беды недалеко.

Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, Дженни пришлось дожидаться в полиции приезда братьев. Они оба учились на юридическом в Кембридже, за рекой. Один был еще студентом, а второй уже окончил и теперь преподавал на своем факультете.

«И оба они, — писал позднее Гарп, — считали, что практическое применение юриспруденции вульгарно и неинтересно, а вот ее углубленное изучение — занятие весьма утонченное».

Когда братья наконец прибыли в полицейский участок, то утешения от них Дженни не дождалась.

— Ты ж матери сердце разобьешь, — заявил один.

— Оставалась бы ты лучше в Уэлсли! — заявил другой.

— Одинокая девушка должна уметь себя защитить, — возразила Дженни. — Что тут неестественного?

Тогда один из братьев спросил, сумеет ли она доказать, что ранее никаких интимных отношений с этим мужчиной не имела.

— Строго между нами, — прошептал другой, — скажи честно: ты давно с ним встречаешься?

В конце концов все прояснилось само собой: полиция установила, что этот солдат из Нью-Йорка и там у него жена и ребенок. А в Бостоне он просто был в увольнении и больше всего опасался, как бы об этой истории не узнала его жена. И все как будто сошлись во мнении, что именно это и было бы самым ужасным, так что Дженни отпустили, не предъявив никаких обвинений. А когда она подняла шум и потребовала немедленно вернуть ей скальпель, один из братьев воскликнул:

— Господи помилуй, Дженнифер, ты что, не можешь еще один стащить?

— Я этот скальпель не крада, — твердо заявила Дженни.

— Слушай, тебе просто необходимо завести друзей, — посоветовал старший брат.

— И лучше в Уэлсли! — добавили оба хором.

— Спасибо, что сразу приехали, как только я вам позвонила, — сказала Дженни.

— Так мы же одна семья, — ответил один из братьев.

— Узы крови, — подтвердил другой и побледнел, потрясенный неожиданной ассоциацией: медицинский халат Дженни был весь перепачкан кровью.

— Учтите, я девушка честная, — мрачно заявила им Дженни.

— Ты тоже учти, Дженнифер, — ответил ей старший брат, который в детстве служил ей вечным примером для подражания как в плане занятий, так и всего, что в их тогдашней жизни считалось «правильным», — с женатыми мужчинами лучше не связываться. — Тон у него при этом был самый что ни на есть серьезный и торжественный.

— Ты не бойся, маме мы ничего не скажем, — пообещал младший брат.

— А отцу и подавно! — подхватил старший.

И вдруг подмигнул Дженни в весьма неуклюжей попытке хоть как-то выказать теплое отношение к сестре; при этом лицо брата так искривилось, что Дженни решила: первый в ее жизни и наилучший пример для подражания страдает нервным тиком.

Братья стояли рядом с огромным почтовым ящиком, на который был наклеен плакат с изображением Дяди Сэма и микроскопического солдата в коричневой форме, который карабкался вниз, цепляясь за огромные руки Дяди Сэма и намереваясь спуститься прямо на карту Европы. Под картинкой красовалась подпись: «ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ПАРНЕЙ!» Старший брат внимательно наблюдал, как Дженни рассматривает этот плакат, а потом сказал:

— И вообще не связывайся с солдатами!

А ведь всего через несколько месяцев ему тоже предстояло стать солдатом. Причем одним из тех, кто не вернулся с войны. И своей гибелью он сделал именно то, о чем с таким отвращением предупреждал Дженни: разбил сердце своей матери.

Второй брат Дженни погиб значительно позднее, через много лет после войны, в результате несчастного случая на воде. Он утонул в море в нескольких милях от того берега, где высилось семейное гнездо Филдзов в Догз-Хэд-Харбор. И мать Дженни сказала тогда о его горюющей вдове: «Она еще достаточно молода и привлекательна, да и дети довольно малы и пока что не слишком несносны. Пройдет положенное время, она снимет траур, а потом, я уверена, найдет себе кого-нибудь другого». Но только с Дженни вдова ее брата решилась в конце концов заговорить на эту тему; тогда она уже почти год была без мужа. И вот что она спросила: прошло ли уже «положенное время», когда, по мнению Дженни, можно снять траур и начать поиски «кого-нибудь другого»? Больше всего она боялась обидеть мать Дженни.

— Если траур тебе уже надоел, зачем же ты тогда его носишь? — спросила ее Дженни.

Впоследствии Дженни писала в своей автобиографии: «Эта несчастная женщина ждала указаний насчет того, что именно она должна чувствовать».

А Гарп писал об этой истории вот что: «По мнению моей матери, это была самая глупая из всех женщин, с которыми ей когда-либо доводилось встречаться. И училась она в Уэлсли».

Сама же Дженни Филдз, распроцававшись с братьями возле дома, где снимала жилье (неподалеку от «Бостон-Мерси»), даже сердиться толком не могла, настолько она была ошеломлена случившимся. Вдобавок ей было больно: болело ухо, по которому ее ударил солдат, и отчего-то сводило судорогой мышцы спины между лопатками, — она все вертелась и не могла уснуть, а потом решила, что в спине, видно, порвались какие-то связки, когда служители кинотеатра схватили ее в фойе и заломили руки назад. Тут она вспомнила, что в таких случаях вроде бы помогает горячая грелка, встала с постели, подошла к шкафу и достала один из подарочных свертков, некогда полученных от матери.

Это была вовсе не грелка. Слово «грелка» оказалось просто эфемизмом, к которому мать прибегла, чтобы не употреблять

другое название, для нее совершенно непроизносимое. В свертке оказался прибор для спринцевания, очень похожий на кружку Эсмарха. Мать Дженни хорошо знала, для чего нужна эта вещь. Дженни тоже. Она не раз помогала пациенткам в больнице пользоваться такими спринцовками, хотя там ими пользовались не для предотвращения нежелательной беременности, а при самых обычных женских гигиенических процедурах и еще при лечении венерических заболеваний. Дженни эта штука была представлялась более удобной и облагороженной версией «иригатора Валентайна».

Дженни развернула все свертки с подарками. В каждом была такая же спринцовка. «И пожалуйста, пользуйся ею!» — всякий раз твердила ей мать. Дженни знала, что мать, желая ей добра, тем не менее уверена, что дочь ведет совершенно безответственную распутную жизнь. Несомненно, мать полагала, что «именно поэтому она и бросила Уэлсли», после чего «погрязла в блуде» и вообще «пустилась во все тяжкие».

Дженни забралась обратно в постель, налив в эту дурацкую кружку Эсмарха горячей воды и пристроив ее между лопатками; она очень надеялась, что зажимы на трубке аппарата достаточно надежные и протечек не будет, но все же не выпускала трубку из рук — сжимала, точно четки во время молитвы, — а наконечник со множеством отверстий на всякий случай опустила в стакан. Так она и провела ночь, слушая, как вода потихоньку капает из наконечника в стакан.

В этом мире, полном грязных мыслей, думала Дженни, нужно непременно быть либо чьей-то женой, либо чьей-то наложницей, шлюхой; во всяком случае, нужно изо всех сил стремиться побыстрее стать или той, или другой. Если же ты случайно не попадаешь ни под одну из этих категорий, всяк тут же решит, да и тебе попытается внушить, что с тобой что-то не в порядке. Нет уж, со мной-то все в порядке! — думала Дженни.

Эти размышления наверняка и легли в основу книги, которая через много лет сделает Дженни Филдз знаменитой. Правда, Гарп считал (как бы грубо это ни звучало), что автобиография его матери — хотя многие отмечали выдающиеся литератур-



ные достоинства и чрезвычайную популярность книги у читателей — имеет «ровно столько же литературных достоинств, что и каталог товаров любой торговой фирмы».

Так что же все-таки сделало Дженни Филдз вульгарной? Вовсе не ее родные братья, и не тот солдат в кино, запятнавший своей кровью ее белый халат, и не бесчисленные спринцовки, подаренные матерью, хотя отчасти именно из-за них Дженни в конце концов изгнали из ее жалкого жилища. Дело в том, что ее домохозяйка (жуткая баба, которая — в силу одной ей известных причин — подозревала, что любая женщина в любое время готова похоти ради броситься на первого же попавшегося мужчину) однажды обнаружила у Дженни в комнате и в туалете не менее девяти огромных спринцовок. Яркий пример так называемого комплекса вины по ассоциации: по мнению этой явно психически неуравновешенной особы, такое обилие спринцовок, безусловно, говорило о страхе «что-то подцепить», причем страхе несравненно большем, нежели тот, каким страдала сама домохозяйка. Или еще хуже: все эти спринцовки свидетельствовали о внушающей ужас необходимости постоянно прибегать к ним!

На какие мысли навело хозяйку наличие двенадцати одинаковых пар туфель, страшно даже вымолвить. Дженни, считая родительские подарки полным абсурдом, вдобавок обнаружила, что и у нее самой возникают весьма двусмысленные соображения по этому поводу. Поэтому спорить с хозяйкой не стала и попросту переехала.

Но это отнюдь не сделало ее вульгарной. Поскольку и братья, и родители, и домохозяйка считали, что она ведет распутную жизнь — хотя на самом деле Дженни использовала для подражания лишь весьма достойные образцы, — она решила, что все ее уверения в своей невинности абсолютно бессмысленны и звучат как оправдания. И без колебаний сняла маленькую отдельную квартиру, что вызвало новый приток спринцовок (со стороны матери) и туфель (со стороны отца). И тут Дженни поняла: они думают, что раз уж она стала шлюхой, то пусть хотя бы живет в чистоте и ходит в приличной обуви.

Война в известной мере удерживала Дженни как от размышлений о том, сколь мало ее понимают в собственной семье, так и от горьких чувств и от жалости к самой себе. Дженни вообще не была склонна к «размышлениям». Она была хорошей медсестрой, и работа отнимала у нее все больше и больше времени. Многие медсестры вступили в армию, но у Дженни не возникло желания ни сменить форму, ни отправиться в другие страны; она всегда предпочитала одиночество и не очень-то любила знакомиться с новыми людьми. Кроме того, ее раздражала любая система субординации, даже та, что была в «Бостон-Мерси», ну а в армейском полевом госпитале, как она полагала, будет только хуже.

Прежде всего ей будет не хватать новорожденных. Вот главная причина, по которой она оставалась в больнице, тогда как многие сестры отправлялись в действующую армию. Дженни казалось, что в качестве медсестры она способна принести максимум пользы — особенно для «мамочек» и новорожденных малышей, тем более что появилось множество детишек, чьи отцы находились неизвестно где, погибли или пропали без вести; и матерям таких малышей Дженни старалась помочь в первую очередь. Сказать по правде, она им даже завидовала. Такое положение вещей представлялось ей идеальным: мать один на один с новорожденным ребенком, а муж ее взорвался где-то в небе над Францией. Молодая женщина и ее малыш — и у них вся жизнь впереди, и в мире их только двое! Собственный ребенок без каких-либо обязательств и условий! — мечтала Дженни Филдз. Почти непорочное рождение. По крайней мере, в будущем уже не возникнет необходимости иметь дело с чьим-то «питером».

Однако эти женщины далеко не всегда были так счастливы и так довольны своей судьбой, как, по мнению Дженни, была бы счастлива она сама на их месте. Многие из них сильно горевали; многие были брошены мужем или любовником; некоторые даже ненавидели своих новорожденных детей, а некоторые, родив очередного ребенка, просто хотели таким образом заполучить мужа для себя и отца для остальных своих детей. Но Дженни Филдз всегда их всех поддерживала и одобряла — она,

всегда стремившаяся к одиночеству, пыталась доказать этим женщинам, что на самом деле им повезло.

— Разве вы не считаете себя честной женщиной? — спрашивала она, и женщины большей частью отвечали, что так оно и есть.

— А какой милый у вас ребенок, верно? — Большинство полностью разделяло это мнение.

— Ну а что, собственно, представлял из себя его отец?

Ответы были примерно таковы: бездельник чертов, свинья, подонок, лжец, потаскун паршивый, да и мужик никудышный!

— Ах, теперь это не важно, ведь он же погиб! — рыдая, твердили очень и очень немногие.

— Но, может быть, так для вас даже лучше? — осторожно спрашивала Дженни.

Некоторые, конечно, в итоге с ней соглашались, однако репутация Дженни в больнице из-за ее «крестового похода» против мужчин весьма пострадала. Больничные власти в целом относились к матерям-одиночкам отнюдь не столь одобрительно.

— Дженни у нас прямо как старая Дева Мария, — насмешливо говорила о ней одна из сестер. — Не желает она, видите ли, заводить ребенка самым простым способом. Что ж, пусть молит Господа, может, Он ей младенца ниспошлет...

В своей автобиографии Дженни потом писала: «Я хотела работать, и работа мне нравилась. А еще я хотела жить одна. Что и превратило меня в „сексуально подозреваемую“. Тем более что я хотела иметь ребенка, но ни с кем не желала ради этого делить ни свое тело, ни свою жизнь. Это, естественно, лишь добавляло сомнений в моей половой ориентации; я ведь и так уже была „сексуально подозреваемой“».

Вот эти-то подозрения более всего и делали Дженни «вульгарной». (Именно отсюда и возникло название ее знаменитой автобиографической книги: «Сексуально подозреваемая».)

Дженни Филдз вскоре обнаружила, что шокирующими высказываниями и поступками можно добиться гораздо большего уважения к себе, нежели стремлением жить одиноко и независимо, никого в свою личную жизнь не допуская. И Дженни

прилюдно заявила, что в один прекрасный день найдет-таки себе мужчину, которого использует только для того, чтобы забеременеть, — и ни для чего больше! Она даже не рассматривала вероятность того, что с одной попытки можно и не забеременеть. Нет, Дженни была абсолютно уверена, что сделает все с первого же раза! Так она и сказала медсестрам. Ну а те, естественно, не замедлили сообщить об этом всем, кого знали. И очень скоро Дженни получила несколько вполне конкретных предложений. Внезапно ей пришлось принимать решение: она, конечно, могла и отступить, пристыженная тем, что ее тайна вылезла наружу, но могла и принять вызов.

Один юный студент-медик заявил Дженни, что готов стать добровольцем, если ему будет предоставлено по крайней мере шесть попыток в течение трех дней. Дженни ответила, что такому человеку она вообще никогда не доверится: она хотела иметь ребенка, но не на подобных условиях.

Больничный анестезиолог сказал ей, что готов даже оплатить обучение будущего ребенка, включая колледж, однако Дженни не устраивала его внешность: слишком близко посаженные глаза и скверные зубы; она не желала, чтобы ее будущее дитя было столь же уродливым.

А приятель одной из медсестер весьма жестоко подшутил над нею: в больничном кафетерии он поднес ей стакан, почти до краев наполненный какой-то мутной, беловатой и вязкой жидкостью.

— Сперма! — гордо заявил он, указывая на стакан. — И все это — за один выстрел. Я дурака валять не привык. Так что, если предоставляется только одна попытка, тебе нужен именно я.

Дженни взяла стакан и стала спокойно его рассматривать. Бог его знает, что именно было в этом стакане, но нахальный молодой человек продолжал:

— У меня прямо-таки выдающиеся способности по этой части. Там же сплошные «семечки»! — И он горделиво улыбнулся.

Дженни молча опрокинула стакан в ближайший цветочный горшок, потом сказала:

— Мне нужен ребенок, а не завод по разведению спермы.